

НОВЫЕ КНИГИ

Тереза Торанская
Якуб Берман

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ* III ЧАСТЬ

— Верно ли, что вы Гомулку арестовали потому, что он тоже намеревался бежать?

— Я слышал такую версию и даже спорил с ней. Смысла в ней не было: ведь не в том состоял конфликт с Гомулкой. Конечно, говорил я, у нас есть претензии к Гомулке, но они политического, а не уголовного свойства; и не в том они, что он хочет бежать.

— Так за что же его арестовали?

— Я никак не мог повлиять на это решение, тем более, что я лежал в больнице. А когда я о решении узнал, то протестовал против него самым резким образом, хоть и безуспешно. Конечно, я не трезвонил по всему свету о своем несогласии, но был у меня резкий разговор с Берутом. Понятно, с глазу на глаз. Только недавно узнал я, что и Ромковский тоже протестовал и приводил свои доводы; действовал он совершенно независимо

* Из книги Терезы Торанской „Они“. Этот сборник интервью с бывшими польскими коммунистическими деятелями был издан в Польше в неподцензурном издательстве „Przedszwit“.
I и II части интервью см. в номерах 15-16 и 17-18.

от меня и, по-моему, ничего не знал о моей позиции. Дело было, вероятно, в том, что он знал Гомулку еще со школы им. Ленина при Коминтерне, он жил с ним тогда в одной комнате.

— Так кто же все провел? Радкевич?

— Не думаю, чтобы такое дело шло через Радкевича?

— Значит, Берут?

— Ясно, что этого не могло бы произойти без согласия Берута. У Берута в отношении Гомулки был какой-то комплекс (что, конечно, никак его не оправдывает), который мне было трудно понять, и остался у него этот комплекс еще со времен оккупации. Не то, что Гомулка — предатель (в это Берут наверняка не верил), просто не было у него полного доверия к Гомулке, он все колебался, не знал, что с ним делать. Думаю, что это психологическое предрасположение Берута использовали советники из СССР, и не исключаю, что сам Сталин непосредственно повлиял на то, чтобы Берут отдал приказ об аресте Гомулки.

— А какое было формальное основание?

— На Гомулку пало подозрение.

— Как всегда — в шпионаже?

— За руку Гомулку никто не поймал и мы в его измену не верили, но двумя годами ранее имя Гомулки прозвучало на процессе Райка в Будапеште, и, конечно, это не было случайностью. Правда, это упоминание еще не выглядело подозрением в измене, как позднее, на процессе Сланского в Праге, но высказано было, в завуалированной пока форме, что были между ними какие-то контакты. Тогда же в Будапешт пригласили представителей нашего УБ (польские органы госбезопасности, — Ред.), так как советские советники хотели, чтобы мы обязательно воспользовались делом Райка, они упорно настаивали, чтобы мы и у себя провели такой процесс.

— Кажется, за две недели до процесса Райк на допросе в присутствии двух ваших сотрудников из УБ отказался от своих прежних признаний в измене и шпионаже?

— Это маловероятно, я такого факта не помню. Знаю только, что на процесс от нас поехали в числе других Замбровский, который работал тогда в армии, и Ромковский. Вернулись они полные сомнений и колебаний. Ромковский сказал мне: процесс не клеился, не выглядел „железно“, ряд моментов пробуждал сомнения. Вот все, что я запомнил.

— Райка казнили.

— Да, но в 1956 г. его реабилитировали.

На нас давили, всю давили, чтобы подобный процесс был проведен против Гомулки. Выдвинули предложение, чтобы несколько товарищей поехали на очередной процесс — Сланского в Праге. Послали мы туда партийную делегацию в составе 4—5 человек, в том числе Пщолковского и Вонгровского. На этом процессе всплыло дело Веслава, в связи с которым уже без обиняков указывалось на связи Гомулки со Сланским. Однако никаких доказательств вины Гомулки не было представлено — их и не было. Никто не мог представить признание, в котором имелись бы обвинения Гомулке. Но раз встречи были, тень дела Сланского пала и на Гомулку.

— Сланского и десяти других товарищей казнили.

— Но потом их тоже реабилитировали.

А вы-то как думаете, для чего проводили такие показательные процессы в Болгарии, в Венгрии, в Чехословакии? Чтобы такие дела охватили весь соцлагерь. Но мы не зашли так далеко, как наши соседи, и не допустили суда над Гомулкой; мы все обвинения против него отрицали. В этом смысле мы — исключение, только мы одни не дали вырвать центральных фигур из руководства партии.

— А для чего Сталин это делал?

— Видите ли, каждый случай отступничества, ренегатства вызывает вопрос — *oui prodest?* — кому это выгодно? И историю с Гомулкой с этой точки зрения оценивали. Я вовсе ее не оправдываю, но надо понять: этот ложный подход вытекал из принципа, что противника следует добивать до конца.

— Вплоть до его уничтожения, как это было в Советском Союзе в 1938 г.?

— Подумаем сначала, зачем Сталин тогда это сделал, ведь не сошел же он с ума! Нет, не сошел. Он пошел по этому пути потому, что в какой-то момент открыл, что было бы неубедительно выдвигать против оппонентов, которые нарушают единство и мешают работать, чисто политические обвинения; чтобы устранить их или ликвидировать, нужно уничтожить их морально. Так я объясняю это себе, но необходимо помнить также, что все это происходило, когда все выше поднимал голову Гитлер, и угроза Советскому Союзу со стороны Германии становилась все более очевидной, а потому становилось необходимо и единство действий, сплоченность рядов. Подобная ситуация, хотя и в меньшей степени, повторилась и в конце 40-х — начале 50-х годов, ибо надо помнить, что каждое обострение международной обстановки, как правило, сначала ведет к обострению дискуссии, что мешает консолидации сил перед лицом врага, а затем — и к обострению внутреннего положения. Тогда тоже существовала реальная угроза со стороны Америки, и перед этой угрозой весь соцлагерь должен был объединиться. Отсюда — устранение видных деятелей во многих партиях. Не исключаю я также и побочных причин, по которым им предъявлялись тяжелейшие и бессмысленные обвинения. Это был горький, мрачный период, который нужно было пережить, и я принял, по-моему, единственно правильную тактику: выиграть время, не допускать вынесения приговоров, завершения дел, дожидаться момента, когда можно будет освободить людей.

— На следующий день после ареста Гомулки начался процесс генерала Татара и восьми других офицеров Армии Крайовой? Это случайное совпадение?

— Нет, таких случайностей не бывает. Далеко идущие планы предусматривали объединение этих двух дел. Наверняка это было связано с поисками доказательств измены Гомулки, которых, повторяю, не было.

— *Процесс Татара начался 31 июля 1951 г. Не для того ли, чтобы 1 августа, в седьмую годовщину Варшавского восстания, все газеты могли на первых полосах писать о героях Польши: „антинародная шайка бандитов”, „жалкие плоды преступления”, „карлики-пилсудчики” и т. п.?*

— Признаюсь, я эти даты не связывал, и тонкость этой корреляции от меня ускользнула. Но я, конечно, знал, что прямая цель процесса — сильный удар по Армии Крайовой и ее лондонским деятелям. Я тогда как раз перенес операцию и почти не мог работать, но перед процессом материалы направили мне, как как это дело шло прямо по линии УБ. Кажется, я изучал материалы вместе с Минцем. Мы внесли пару поправок, но никаких чудес совершить не могли. Показания были и такие и эдакие, но из них складывалась картина, чреватая обвинениями.

— *Какая же?*

— Что существовал заговор насильственного изменения государственного строя Народной Польши.

— *Ясно. И действительно такой заговор имел место?*

— Существенно, что это вытекало из представленных мне материалов: да, был заговор. Там были признания обвиняемых, показания свидетелей — все, что нужно для осуждения, и все было так логично увязано, что придраться было не к чему. У меня вызвало сомнения только, что генерал Татар, возвращаясь из эмиграции, снял с депозита в английских банках и привез в Польшу золото, принадлежавшее довоенному польскому правительству. Мне не показалось убедительным, что он доставил это золото с дурными намерениями, чтобы нас „купить” (как пыталось доказать следствие), а не из патриотических

побуждений. Конечно, гипотезу следствия нельзя было исключить полностью, но меня она не убедила. Я уцепился за это, и в заключении по обвинительному акту написал, что не только Татар, но и другие обвиняемые ни в коем случае не должны быть приговорены к смертной казни. Это было все, что я мог сделать. Я предложил: вынесем приговоры, а потом время покажет и через сколько-то лет мы узнаем правду. Я не отрицал их враждебной деятельности, я даже не мог приводить такого рода аргументы, но смертные приговоры я считал крайне вредными для этого дела: оно было бы закрыто, если люди были бы казнены. Этого я не хотел. Наоборот, я хотел, чтобы они могли вернуться к активной жизни. К счастью, мне удалось убедить в этом Берута, потому что сам я не смог бы отстоять эту свою точку зрения. Разговор с Берутом был нелегким. Я объяснял ему, что смертные приговоры нецелесообразны, ибо они не служат нашему делу, а приносят ему вред; я настаивал на этом так горячо и категорично, что Берут в конце концов со мной согласился. Может быть, это объяснялось и тем, что я только что перенес болезнь, да к тому же был немного сердит на Берута за арест Гомулки. Берут вызвал Ромковского и приказал ему смертных приговоров не выносить. Тот был ошеломлен. Да и все они были ошеломлены.

— *Значит, еще кто-то. Кто?*

— Советники из СССР, которые этот процесс подготавливали в расчете на серьезные результаты. По-моему, они рассчитывали на 4–5 „вышек”, были разочарованы, а весь мир был изумлен. Это был первый такой процесс в Польше, показательный — и ни одного смертного приговора, хотя вынесенные приговоры были очень суровыми...

— *Четыре пожизненных..*

— Судья, оглашая приговор, сообщил о визите Ромковского к Беруту, так что вся слава досталась ему — и правильно. К сожалению, процесс Татара был исключением. В других, второстепенных процессах Армии Крайовой, давление советников

было крайне вредоносным. Я ничего не мог сделать, и смертных приговоров было много.

— *Второстепенные процессы были закрытыми, проводились в тюремных камерах, как в Лефортово или на Лубянке?*

— В тюрьмах, но не в камерах, и в специальных залах, так что формальные требования соблюдались. Объяснялось, что это делается для безопасности заключенных, чтобы их не могли отбить при перевозке в здание суда. Сами знаете, такие тексты всегда там выдают.

— *Не так ли погиб полковник Нил (подпольная кличка Эмиля Фельдорфа)?*

— Такого дела я не припоминаю.

— *Интересно, чуть ли не каждого из вас я об этом спрашиваю, и никто этой фамилии не знает. А ведь это был герой масштаба Окулицкого и „Грота“-Ровецкого.* Он был командиром дивизионного отдела Армии Крайовой, готовил покушение на Кучеру и операцию по освобождению узников Арсенальской тюрьмы, был командиром организации „Нет!“. Сначала его арестовал НКВД и послал в Сибирь, а когда он вернулся, его арестовало УБ.*

— Если он принадлежал к командованию Армии Крайовой, то, конечно, его дело рассматривалось не на низком уровне. Но меня оно, вероятно, обошло.

— *Смертный приговор, который он получил, выносил такой вот независимый, как вы считаете, суд?*

— У вас все очень просто. Суд, зависимый или независимый, работает с материалом, который дают ему следственные

* Командиры Армии Крайовой. — Примечание переводчика.

органы. Они смогли убедить Берута, который, будучи человеком умным и порядочным, все-таки полностью поверил в вину Спыхальского и Гомулки. Значит, следствие могло убедить и суд. Ведь на заседаниях суда все подсудимые чувствовали себя скованно, и нужен был необычайно твердый характер, чтобы противостоять давлению суда.

— *Фельдорф, Мочарский, Куропеска, Лехович сохранили такой характер. И до конца!*

— Этого я не знаю, это ведь слухи. Конечно, наши суды были далеки от совершенства. Да и проблема, по-моему, была не в том, что заседания проводились в тюремных помещениях, а в том, что судьи были заранее настроены против подсудимых и потому не всегда объективны.

— *Только таких вы и назначали.*

— Не мы — советники. Судей брали из служб безопасности, как и в Советском Союзе: они ведь свои методы судопроизводства прививали и нам. Поэтому суды формировались по советским образцам.

— *Они и выносили приговоры?*

— Приговоры выносились в соответствии с уголовным кодексом, и зависели они от степени и характера вины. Мы вмешивались только в важнейших, ключевых случаях, в остальных наказания определялось нормально.

— *Боже мой!*

— Согласен, это не были нормальные суды, и судьи не были слишком пронизательными, но вы должны понять: судьи желали честно выполнять свои партийные обязанности, вытекающие из государственной необходимости. Вы же знаете, как это бывает. Иногда интересы личности приходится подчинять интересам государства, а когда государство под угрозой,

подозрения раздуваются, чтобы придать им видимость правдоподобия. Я не отрицаю: были ложные приговоры. Возможно, если бы судьи были другими, многих ошибок удалось бы избежать. Но трудно было найти судей, которые смогли бы сохранить лояльность и в отношении к нам и по отношению к обвиняемым, что необходимо для вынесения справедливого приговора.

– *Когда я слышу из уст вам подобных слова „справедливость”, „равенство”, „социализм”, я дрожу от страха!*

– (с улыбкой) Так уж случилось, к несчастью, что идея оказалась дискредитированной. Но произошло это не потому, что ее исказили, а потому что при ее осуществлении были использованы методы, которые привели к непредвиденным отрицательным результатам. Сыграло роль также наступление различных сил, враждебных социализму.

– *О, конечно. Но лучше вернемся к фактам.*

– Я не хочу обелять действительно позорные факты. Увы, так этот механизм работал, и тут я ничего поделать не мог. Мое положение было особенно трудным, ибо и советские советники были более или менее осведомлены о том, как Сталин ко мне относится. Если им даже об этом прямо не говорили, то все же каким-то образом их настроили в том смысле, что со мной можно не считаться.

– *11 ноября 1952 г. вы арестовали генерала Вацлава Комара.*

– Наступило время, когда в измене начали подозревать добровольцев, сражавшихся в Испании в батальоне имени Домбровского. Возник целый комплекс подозрений против отдела Комара, который в предшествующие годы был начальником штаба Второго отдела Войска Польского (военной разведки. — Примечание переводчика). Он укомплектовал этот отдел главным образом своими близкими товарищами, в основном, „домбровцами”. Почти все они были устранены.

– *То есть посажены?*

– Да, да, были арестованы сам Вацек Комар, Ледер, Флато. Я все время присматривался к их делу, чтобы поставить под сомнение выводы, которые вели к их осуждению. Но я не мог освободить их. Для этого у меня не было достаточных данных.

– *Не было достаточно их невиновности?*

– Невиновности было бы достаточно, но ее надо было сначала доказать, так как им предъявляли вполне конкретные обвинения. Сейчас я не буду обсуждать — мнимые или правильные, но обвинения были. В ходе следствия это надо было выяснить. И мы пытались это выяснить...

– *Вы знали Комара, Ледера?*

– Конечно.

– *Так что же тут было выяснять?*

– Видите ли, схемы „правда — неправда”, „виновен — виновен”, увы, легко меняются в ситуации, когда атмосфера насыщена подозрениями, и подозрения все больше подогреваются. Я не мог априорно утверждать, что все обвиняемые в шпионаже невиновны: тогда мне пришлось бы предположить, что вражеские разведки перестали заниматься Польшей и ликвидировали свою агентуру в стране, а это предположение — чистая бессмыслица. Проблема, стало быть, состояла в том, чтобы вылавливать подлинных агентов, чтобы УБ работало безошибочно. Вероятно, бывали точные попадания, но были и ошибки. Однако каждое дело надо было выяснить до конца.

– *Посредством пыток?*

– Комара не пытали. Разве что в смысле психического воздействия, но не физического. Например, пугали, что будут сделаны выводы в отношении семьи. В общем, такие вещи, которые

практикуются в этих случаях. Об избиениях я не слышал, да и он впоследствии на это не жаловался.

— *Значит, он лгал? И он, и Ледер, Флато, и генералы Куронеска, Татар, Моссор, Кирхмайер, Скибинский, и, наконец, Мочарский, который описал 49 видов пыток, примененных к нему?*

— Я читал это и фактов этих не отрицаю. Мы создали комиссию для проверки — бьют или не бьют. Были обнаружены факты превышения власти, и мы приняли меры по дисциплинарной линии. Это сделали мы, то есть Берут и я. Несколько офицеров, не помню скольких, наказали. Их привлекли к ответственности по дисциплинарной линии. Они получили выговоры, их отстранили от исполнения служебных обязанностей на несколько месяцев, а то и на полгода. Согласен, наказание было больше для виду, чем по существу, подействовало оно лишь на короткое время, системы не изменило, и машина крутилась дальше. Произошло так потому, что, во-первых, аппарат госбезопасности стал ставить себя над партией, как и в Советском Союзе, он мог манипулировать всеми источниками информации, и мы часто были просто бессильны перед ними. Во-вторых, контроль над столь замкнутым кланом, каким стали органы госбезопасности, был крайне затруднен: их сотрудники друг друга покрывали, и доказать что-либо можно было только, если у тебя было на кого опереться. Значит, кто-то должен был открыть их внутренние секреты, то есть служебные тайны.

— *И, в-третьих, вы предпочитали не знать, не правда ли?*

— Нет. Мы просто не верили в такое зверство. Согласен, возможно, мы были слепы. Не верили сплетням, считали их вражеской пропагандой, потому что слухов и вражеских измышлений на наш счет было множество. Надо, дорогая пани, отдавать себе отчет, в какой обстановке мы жили, а она была такова, что даже многие из аппарата госбезопасности, в особенности люди идейные, поверили в некоторые мифы и легенды о нависшей угрозе и действовали не просто под влиянием

советников и начальников, но по убеждению в правильности репрессий.

— *Боже! По убеждению вырывать ногти, отбивать почки, держать в холодной воде?!*

— Если бы я знал об этом, такие офицеры не задержались бы у меня и пяти минут.

— *Так надо было пойти в тюрьму (крик), проведать своих друзей!*

— Этого я, действительно, не сделал. Во-первых, я был связан в своих передвижениях, во-вторых, я не очень-то верил слухам.

— *Но не будете же вы утверждать, что вы не знали, как вас ненавидят?*

— А вы думаете, что хоть кто-то из нас решился на переворот в обществе только потому, что его не любят?

— *Что вы имеете в виду?*

— Конечно, можно было бы сказать „после нас — хоть топ!”, но коммунист мыслит не так. Коммунист должен видеть ход мирового процесса и пытаться изменить мир. Он должен отвечать за свои поступки и спасти народ от катастрофы.

— *Значит, коммунисты приносят себя в жертву родине?*

— Мы не приносили себя в жертву, а выполняли и выполняем перед ней свой долг. Причина проста: если бы мы не страдали, то Польшу раздавили бы в лепешку. (Кричит.) Не знаю, когда эта истина дойдет до голов этих „миллионов”, но когда-нибудь дойдет, и они постепенно поймут, от какой опасности мы их убергли.

– *Мазохизм?*

– *Почему мазохизм?*

– *А что же еще? Часть народа плюет на вас, другая проклинает, а 90% – не хотят вас.*

– Ну-ну, не будем торговаться насчет процентов. Согласен, если бы не было за нами правоты, или если бы правота наша была мнимой, тогда, конечно, можно было бы сказать — они безумцы. Но за нами есть правота, вполне разумная правота и перспектива, которую я уже не раз вам раскрывал, была и есть реальная перспектива, с этим ничего не поделаешь; а что нас было и осталось немного? Но история учит, что всегда меньшинство спасает большинство.

– *Не знаю, что на это ответить... Может быть, поговорим о вашей личной жизни. Вы жили на Кленовой улице?*

– Да. Первый этаж дома занимал я, второй — Берут, третий — какое-то время Швальбе (кооперативный деятель, возглавил ту часть руководства ППС, которая капитулировала перед коммунистами и пошла на объединение с ними в ПОРП. — Примечание переводчика). У меня было четыре комнаты и довольно приятная прихожая. В 1954 г. мне дали дачу в Константине. Моя дача стояла рядом с дачей Радкевича, напротив дачи Берута. Чуть дальше стоял дом Минца. Жизнь я вел спокойную. Вставал в восемь, иногда в полвосьмого. Завтракал вместе с женой, и мы оба ехали на работу, жена — в Институт ревматологии на Спарганской, я — в ЦК или в Совет министров, на девятый этаж. У нас была домашняя работница.

– *Присланная?*

– Конечно. В министерстве госбезопасности был отдел охраны членов правительства, он опекал всех, кого ему было поручено охранять. Этот отдел организовывал наш отдых и служебные поездки, присылал домработниц и назначал охрану. У меня было 4-5 человек, которые сменяли друг друга круглые сутки. Все они имели определенные обязанности.

– *Кто их назначал?*

– Вы ведь понимаете, они мне не докладывали (улыбка).

– *Но вы же были их начальством.*

– Это неважно. Они собирали информацию обо мне и обо всех, кто был под их опекой, то есть обо всех, начиная с министров, и куда-то ее передавали. Когда человек бывает на работе, кто его посещает. Однако разговоров они слышать не могли, потому что сидели в коридоре, в передней, а летом — перед домом.

– *Но не в квартире?*

– Нет, вне дома, но в пределах досягаемости. Мы-то разговаривали только в закрытых кабинетах.

– *Подслушивания не было?*

– Не думаю. Между тремя и четырьмя я ехал домой, обедал с женой и дочерью и возвращался в ЦК. Иногда приезжал домой ужинать, но чаще мне в кабинет присылали бутерброды. Кабинет, по существу два (один в Совете министров, другой — в ЦК), был у меня большой, больше этой комнаты. Два телефона, один обычный, городской, другой — ВЧ, специальный, по которому можно было заказывать разговоры с Москвой. Прямого телефона не было: он был не нужен. Связь через ВЧ давалась немедленно. Сталин ввел режим работы, который был обязательным по всему Советскому Союзу и по всему соцлагерю: сидели в конторах до поздней ночи. Сталин обычно начинал работать в шесть вечера. Между шестью и полночью, а то и часом ночи он связывался со всеми. Поэтому все, кто мог ему понадобиться или ответить на вопрос, ждали его звонка, понимая, что он может позвонить в любую минуту.

– *Значит, сидели в ожидании звонка?*

— Мы не сидели без дела, выполняли свою работу, тоже звонили разным людям в уверенности, что каждый сидит на месте, зная, что и им могут позвонить, задать вопрос или передать информацию.

— По воскресеньям тоже?

— Нет, в воскресенье у членов политбюро бывали дружеские встречи. Я в основном встречался с членами нашей тройки — Берутом и Минцем. Ходили друг к другу на ужины, на обеды, на чай. Летом было больше свободного времени, и мы могли ходить на прогулки в Константине, но недалеко, в пределах нашей закрытой территории. Но и во время прогулок мы занимались тысячей дел. Надо признать, наша частная жизнь была бедновата.

— Случалось вам разговаривать друг с другом об арестованных товарищах?

— Все понимали опасность положения. В декабре 1952 г. прошли два страшных процесса: в Москве 23 смертных приговора за космополитизм (о таком процессе ничего не известно, возможно, имеется в виду казнь еврейских культурных и политических деятелей, которую принято датировать 12 августа 1952 г. — Примечание переводчика), в Праге — 11, в том числе Сланскому и Клементису. 14 января 1953 г. было опубликовано сообщение о раскрытии заговора кремлевских врачей, что предвещало очередную большую чистку. Снова надвигалась гроза.

Ко мне пришел Зигмунт Модзелевский (ветеран компартии, историк и дипломат, член ЦК. — Примечание переводчика.), чтобы поговорить о деле группы Комара, особенно о Ледере, которого он знал с довоенных времен и дружил с ним семьями. Ледер сам был сыном видного деятеля КПП. „Слушай, — сказал я ему, — сейчас я ничего сделать не могу, такое уж положение. Но я тебе обещаю, что через год-полтора мне удастся их как-то вытащить”. И удалось.

— Но не так уж быстро. 5 марта „перестало биться сердце

вождя человечества”, „освободителя польского народа”, который „дал нам свободу, был нам всем отцом”, „великого Сталина”...

— Я по понятным причинам на похороны не поехал...

— ... и настало время самых тяжелых для народа событий. Началось вроде бы невинно. Сначала, 7 марта переименовали Катовице в Сталиногруд.

— Это было глупо. Я воздержался при голосовании.

— Было голосование?

— Было.

— Это было предложение Берута?

— Не помню.

— А кто был „за”?

— Предложение прошло большинством голосов, так что считать тут нечего. В таких случаях могут сыграть роль случайные обстоятельства, несущественные, не вытекающие из общей идеи. Могу вас все же утешить, что с моей помощью удалось спустить на тормозах сооружение памятника Сталину перед Дворцом культуры и науки.

— Потом были убиты 19 польских офицеров из 91 приговоренного к смертной казни в предыдущие годы.

— Я не хочу об этом говорить, это была скверная история, которая может представить в плохом свете Берута. Он был благородным человеком и только благодаря ему вы вообще со мной сейчас разговариваете. Так что вычеркните то, что я вам сейчас расскажу. Я был в Бельведере (тогдашняя резиденция Берута как президента государства. — Примечание переводчика), шел по коридору, и тут он меня остановил. Слушай, — говорит, — я

тебе дам эти дела. Прочитай, подумай и посоветуй, что мне с ними делать. Я ему ответил: я эти дела не возьму. Мне известно, как они сработаны. Никакого анализа я провести не смогу, все сделано так, что вычитать из них ничего невозможно. Об одном тебя только прошу — не давай смертных приговоров: пока дело не закрыто, можно еще что-то выяснить, а человек все-таки жив. Если даже несколько лет пострадает, у него есть шанс выжить. Вернулся я домой и даже угрызения совести почувствовал: может, было бы лучше, если бы я взял эти папки. Но сделать — ничего было нельзя. Там ведь были свидетельские показания, признания вины, все отработано и пригнано. Не за что было бы зацепиться. Я мог бы напирать лишь на моральную сторону дела: что лучше, мол, врубить большие сроки, но не смертные приговоры. К сожалению, Берут меня не слушал. Редко случалось, чтобы он не послушал моего совета, но вот, случилось. Он, к сожалению, слишком верил в эти бумаги.

— И наконец, пришла очередь церкви. 23 сентября 1953 г., после серии нападков в печати и процессов священников был арестован примас Вышинский.

— Я этому противился, но не смог повлиять настолько, чтобы решение было отменено. Вообще-то намечался не арест, а интернирование в монастырь, то есть в лучшие условия. Но детали не имели значения — все это было бессмысленно. Вы же знаете, в политических играх делают различные ходы, не всегда удачные и умные. Арест примаса я отношу к явно неумным ходам: сделали из Вышинского еще одного мученика, и вместо того, чтобы ослабить церковь, укрепили ее.

— А эту „ошибку“ кто совершил?

— Берут.

— Без помощи „друзей“?

— Без. Арест примаса было нашим решением, решением наших властей, а конкретно — Берута, так как церковь была

в его компетенции. Дело шло не о какой-то мелочи, а о примасе в католической стране. Но надо понимать, что в этом случае имелась в виду не личность примаса, а сама церковь.

— Вы хотели ее разрушить?

— Мы даже и не пытались — на это не было никаких шансов. Но всегда обе стороны стараются получить как можно больше козырей. Католическая церковь резко расширила свое влияние, и нам надо было так или иначе на это ответить. На решение Берута повлияла также и общая ситуация, совпадение нескольких неблагоприятных обстоятельств. С одной стороны, еще при жизни Сталина, были намечены акции по дискредитации церкви. С другой стороны, в 1953 г. стало ясно, что движение „священников-патриотов“ и „Пакс“ (организация „светских католиков“, инспирированная правительством. — Примечание переводчика) не смогут сдержать активности церкви.

— „Священников-патриотов“, то есть тех, которые хотели разбить церковь изнутри?

— Нет, они к этому не стремились, такое дело было обречено на неудачу. Вместе с „Паксом“ они пытались создать оппозицию внутри церкви, центр, который мог бы заменить в случае надобности церковных лидеров на переговорах с государством, и в то же время ограничить масштабы деятельности церкви и ее агрессивность, ибо мы рассматривали церковь как организацию, пусть не явственно политическую, но настроенную недоброжелательно по отношению к строю и к „безбожным“ идеям, которые с ним связаны. Однако мы долгое время, особенно до 1947 г., хотели привлечь церковь на свою сторону, в первую очередь — верующих.

— Говоря попросту — подчинить?

— Нет, нет. Мы стояли на позициях мировоззренческого плюрализма, признания за гражданами абсолютной свободы совести, мы не собирались мешать церкви в выполнении

ее религиозных функций, а это, как вам известно, позиция, совершенно противоположная той, что приняли наши соседи. Мы не хотели воевать с церковью, не хотели совершать поступков неприятных и неумных.

Вначале нам это удавалось. Государственные деятели участвовали в процессиях в праздник Тела Христова, церковные иерархи — в церемониях открытия новых школ и заводов. Однако с течением времени и с обострением международной обстановки, вылившейся в „холодную войну”, наши отношения с церковью изменились, что привело к искажению наших первоначальных планов. Еще в 1950 г. мы пытались прийти к соглашению и подписали с Вышинским очень хороший документ (частично потом измененный), который сыграл положительную роль, правда, не надолго, ибо его не всегда, к сожалению, соблюдали.

— *Главным образом — вы, что доказывает Анджей Мицевский (в книге „Пакс” и „Знак”).*

— Это обычно, что каждая сторона имеет претензии к другой, доказывая, что она-то вела себя безупречно. Но это невозможно, так как речь идет об огромных массах людей, о живом организме, состоящем из множества личностей с различными темпераментами, взглядами и настроениями. У нас были претензии к ним, а у них — к нам, и я не могу обвинять в этом примака Вышинского, который был человеком широких взглядов, ценил заключенное с нами соглашение и, мне кажется, неплохо относился к Беруту, так что Берут мог бы с ним договориться. Но и Вышинский не мог повлиять на то, что говорит тот или иной священник или епископ.

— *За что его конкретно арестовали?*

— Эти репрессии (я согласен, что они были неумными) вытекали из общей ситуации, их надо видеть в полном контексте событий. Через несколько месяцев после смерти Сталина, в июне, произошли известные события в ГДР и Берлинское восстание. Кое-кто у нас тоже начал верить в перемены, в то, что

карта Европы может измениться. Произошла консолидация и активизация оппозиционных групп. Берут пытался их подавить.

— *Кто ему помогал?*

— Мазур и Люна Бристигер, которая собирала для него информацию по линии министерства государственной безопасности.

— *Не она ли тогда готовила показательный процесс епископа келецкого Чеслава Качмарека, осужденного, как и многие священники, за шпионаж?*

— Не думаю, хотя, вероятно, она была знакома с этим делом: оно было в ее компетенции. Возможно, что она готовила некоторые документы для следственного отдела, где, как вы знаете, сидел Ружанский. Здесь ее информация, в том числе и неполная и неточная, проверялась глубже, иногда методами не слишком достойными, и из нее делались те или иные выводы. Мы, как вы знаете, Ружанского сняли.

— *Ну, далеко не сразу.*

— Годом позже, после октябрьского пленума.

— *А также после бегства Свято и его передач по радио „Свободная Европа”, не так ли?*

— Ранее мы не располагали прямыми, документированными уликами, которые дали бы основание для снятия Ружанского с поста.

— *Да ну? Ведь о его делах знала чуть ли не вся Польша!*

— Легенды о чем-то садизме могут быть правдивыми, но могут быть и неверными и злонамеренными. Если бы я об этом знал, пяти минут бы...

— А Радкевич, этот вроде бы порядочный человек...?

— ... несомненно...

— ... почему он этим не поинтересовался?

— Об избиениях я уже говорил: мы открыли несколько дисциплинарных дел. Из следственного аппарата, которым руководил Ружанский, тоже были удалены несколько человек. Я вовсе не утверждаю, что все происходившее было прекрасным. Наверное, не надо было дожидаться, пока накопится столько материала против Ружанского, надо было действовать раньше и решительней. Сначала мы его перевели на пост директора Госиздата. Но через несколько месяцев, когда накопилось столько обвинений, что пришлось его арестовать, он был привлечен к уголовной ответственности. Это произошло еще когда я был на посту. Тогда же мы начали пересматривать все дела, в особенности те, которые вела военная контрразведка: там накопилась масса чепухи, еще больше, чем в УБ. Итак, настало время, о котором я говорил Модзелевскому, и именно я через Берута устроил созыв специальной комиссии с участием Охаба для пересмотра дел, которые вела военная контрразведка.

— Комиссию вы создали потому, что генерал Комар „признался“: во главе шпионской сети, в которой он работал, стояли Берут и Мазур.

— О Беруте не слышал, во всяком случае, нам этого не сообщили, может быть, утаили. Но Комар, действительно, желая выгородить себя, стал говорить глупости, а затем обвинять всех подряд.

— И вас?

— Меня, кажется, нет. До меня ничего не дошло, может быть, не хотели меня трогать. Комар назвал Мазура, Завадского, Модзелевского, всех подряд!

Через много лет мы встретились на кладбище (кого только

не встретишь на похоронах!), он подошел ко мне и спросил, не держу ли я на него зла за то, что он назвал эти имена. Я ответил ему, что мудрецы говорят: хочешь кого-то упрекнуть, представь себя на его месте. Я себя в твоём положении представить не могу, поэтому я не могу сердиться за то, что ты делал глупости. Могу только сказать, что ты делал их, и, к тому же, ужасные: трудно было предвидеть, к каким последствиям для названных тобой людей это приведет.

Со стороны Вацека обвинение членов политбюро в шпионаже было отчаянной попыткой свести все следствие к абсурду. Он, вероятно, хотел, чтобы на его дело взглянули по-другому. Но такие расчеты довольно рискованны и могут привести лишь к новым бедам.

Комиссию мы создали независимо от признаний Комара, потому что умер Сталин, и поэтому начался пересмотр всех дел.

— Комиссия была создана вопреки Рокоссовскому?

— Конечно, ведь он был непосредственным начальником военной контрразведки.

— Он сопротивлялся?

— Наверное, он не был доволен вторжением в его дела, но он не протестовал. Уже настали другие времена, и многих советских советников мы начали отсылать домой. Перед отъездом они приходили ко мне. Среди них были военные, члены нашего Верховного суда. Они просили, чтобы я не писал плохого в их характеристиках — боялись получить по шее после возвращения. И действительно, некоторых посадили. Несколько лет получил Скульбашевский, а Вознесенский — десять лет. К сожалению, он был зятем Кароля Сверчевского — он женился на его дочери.

Члены комиссии Охаба побеседовали с арестованными, и многим был изменен режим содержания. Это отразилось в воспоминаниях, которые они впоследствии опубликовали. Так, Куропеска, который, кажется, сидел дольше всех, считал благодеянием, что его перевели из тюрьмы контрразведки в

тюрьму УБ; парадокс был в том, что здесь он почувствовал себя безопаснее, так как здесь не было избиений, которые измучили его в военной тюрьме. Комиссия Охаба получила прямой доступ к делам и выяснила, что было немало абсурдных обвинений, особенно, в военной разведке. Дела расследовали заново, распутывали, раскручивали и стали оправдывать и выпускать людей.

— *Не торопитесь. Тем временем вас понизили в должности.*

— Нет, я так не думаю. Я по-прежнему участвовал во всех заседаниях политбюро и выполнял все прежние функции. Об отстранении можно было бы говорить раньше, когда надо мной висела угроза недоверия Сталина, что ограничивало возможности моей деятельности и участия во всех делах.

— *В 1954 г. вы перестали быть секретарем ЦК.*

— Так как стал вице-премьером, то есть продвинулся выше.

— *Неужели?*

— Согласен, это был как бы „динок наверх“. Кое-кому было важно, чтобы я ушел из секретариата ЦК. Конечно, не Беруту, но он подчинился (так я думаю, потому что точных сведений у меня нет) давлению Хрущева. Тот, правда, не был анти-семитом в обычном смысле слова, но какие-то комплексы такого рода у него были. Он утверждал, что в нашем руководстве слишком много евреев. Его слова жадно подхватывали и приводили в качестве рекомендаций. Хрущеву казалось, что для общего успокоения и ослабления напряжения в стране будет полезно меня отстранить и свалить на меня ответственность за все происшедшее. Дело рассматривалось в Кремле и раздумывали, какой пост мне дать. Как мне рассказывали, в какой-то момент Молотов, в поисках прилично выглядевшего выхода, предложил: а не сделать ли его вице-премьером, чтобы не возникло обвинения в дискриминации. Берут согласился. Но люди

в Варшаве, знакомые с закулисной политической игрой, правильно оценили удаление меня из секретариата ЦК, и вице-премьерство не считали продвижением.

— *Старевич, Касман и Сташевский были отстранены по тем же причинам?*

— Не знаю.

— *Значит, Молотов помогал вам до конца?*

— Я часто с ним встречался, особенно вначале, когда решалось множество дел, касающихся Польши. И потом, когда возникла какая-нибудь политическая проблема, я, прежде всего, обращался к нему. Так было в 1948 г. с Конгрессом мира, когда я звонил ему из Вроцлава, ища спасения, и он это дело спас. Он был со мной вежлив. Но они все были вежливы — и Каганович, и Микоян, все. Вежливость входит в ритуал. Но симпатию я почувствовал только со стороны Маленкова, когда через несколько лет, в 1954 г., уже после смерти Сталина, я снова приехал в Москву. Маленков подал мне руку и сказал: „Здравствуй, Яков“. Я знал о нем мало, только то, что он был членом политбюро. Он участвовал во встречах, иногда мы сидели рядом, беседовали, но принципиальных дискуссий я с ним не вел. А тут он сделал такой дружеский жест. Вроде бы ничего особенного, но все же это было свидетельством симпатии. С ними такое редко случалось.

— *Кто вышел первым из заключения? Гомулка?*

— Не знаю, был ли он первым, но через пару лет с него сняли все обвинения, и он вышел в конце 1954 года. Его можно было выпустить и раньше, но так уж случилось. И другие начали выходить. Освободили целую группу людей. Моя Анка Дурач, припуганные к делу Фильдов. Нам помогло, что в Венгрии „дело Фильдов“ тоже обанкротилось, и венгры начали из него выпутываться. Бессмысленная была история, множество людей было обижено, многие пострадали, а Гецов даже умер.

— А также генерал Герман, полковник Добужинский, полковник „Веруш” — Ковальский. А другие люди из Армии Крайовой оставались в заключении.

— Освобождение было процессом, а не единовременной акцией. Проверка дел и освобождение требовали времени и проходили постепенно. Хуже всего обстояло дело с обвинениями в шпионаже. Два дела тянулись подозрительно долго. Меня злило, что в 1955 г., когда почти все коммунисты уже вышли на свободу, продолжали сидеть Вацек Комар и Мариан Спыхальский. Но Берут откладывал их освобождение. У него сложился целый комплекс подозрений, рассеять которые мне не удавалось. Я отношу это на счет его закостеневших доктринерских взглядов; отсюда — его вера во все бумажки, которые подсовывала ему УБ. Он им верил. Очень верил.

— А вы не верили?

— У меня эти подозрения уже полностью исчезли, а у него еще нет. Дело тут в отношении к следственному материалу. Один читает его с намерением обелить подозреваемого, другой больше верит следователю. Берут по-прежнему верил обвинению, поэтому в разговорах с ним я не ставил вопроса, виновны или невиновны Спыхальский и Комар. Я предлагал, чтобы следствие по их делам велось открыто, что придавало бы ему совершенно иной характер. О Комаре говорил я с Берутом неоднократно. Это не дало никаких результатов. Поэтому весной 1955 г. я поставил вопрос о его освобождении на политбюро. Но я оказался в одиночестве. Я даже заболел из-за этого, получил микроинфаркт и несколько недель пролежал в постели. Осенью 1955 г. я вновь поднял вопрос об освобождении, на этот раз — Спыхальского. Но мое предложение снова провалилось.

— А как голосовал Минц?

— Не помню. Решал, во всяком случае, Берут и, как всегда, в делах государственной важности голос Первого перевесил. Оба просидели до 1956 г.

— Спыхальский — до XX съезда и смерти Берута, а бойцов Армии Крайовой выпустил лишь Охав по амнистии, объявленной в апреле 1956 г.

— На XX съезд мы поехали втроем — Берут, Ежи Моравский и я. Берут чувствовал себя плохо, он был слаб после только что перенесенного гриппа. Съезд оказался для него тяжелым переживанием. Уже выступление Микояна в начале съезда предвещало что-то новое. Микоян, конечно, никаких открытий не сделал, но расстановка акцентов в его речи показывала, что наступает новый этап. Меня захватило радостное чувство, и под его влиянием я выпил с Моравским на брудершafft.

Хрущев выступил в последний день съезда на закрытом заседании, только для делегатов. Иностранные гости не были приглашены в зал. На следующий день я должен был возвращаться в страну. Берут получил текст доклада Хрущева и дал его мне на последнюю ночь. Конечно, доклад произвел на меня большое впечатление, но, видимо, я воспринял его спокойнее, чем Берут, так как достаточно критически относился к Сталину и его деятельности. Да и Берут должен был относиться так же. Ведь семья Формальской (жена Берута. — Примечание переводчика) страшно пострадала во время „больших чисток”, и Берут, когда бывал в Москве, каждый раз спрашивал о ее давно убитых братьях в надежде, что кто-то из них, может быть, еще жив, и его можно вытащить. Так что и у Берута должно было иметься противоядие против потрясения. Но одно дело, когда знаешь отдельные случаи, а другое, когда предстает перед глазами общая картина. Берут был потрясен.

— Понял, наконец, кому он служил?

— Не в том дело, что служил. Берут просто не мог понять, как у Сталина до этого дошло. Тут уж не имело значения, что разоблачение жестокостей угрожало осуждением Сталина и тем, что его вычеркнут из истории. Этого сделать не удастся: он победил Гитлера, и потому он останется в мировой истории, несмотря на все совершенные им глупости...

— Не глупости, а преступления...

— И преступления, конечно. Но он совершал их в убеждении, что это послужит делу революции, из идейных побуждений...

— *И Гитлер тоже, прошу заметить...*

— Оставьте. У Сталина была идея — великая идея — защитить революцию любой ценой.

— *А у Гитлера — защитить чистоту расы.*

— Нет (кричит), нет! Это вещи несравнимые!

— *Но результат тот же...*

— Таковы парадоксы истории. Они тяжелы, болезненны, но тут уж ничего не поделаешь. Потому и стал таким потрясением доклад Хрущева. Независимо от того, правильно ли осветил он тот или иной вопрос, самим фактом выступления с целым рядом обвинений против Сталина Хрущев обнаружил большую силу характера. Берут расхворался, но я не думал, что это смертельно. Я вернулся с Моравским в Варшаву. Разоблачения Хрущева дошли сюда очень быстро. Они вызвали растерянность, брожение. Ситуация еще более осложнилась. Было даже несколько самоубийств: не все выдержали такое нервное напряжение. Отзвуки этих событий по разным каналам доходили до Берута. Он часто звонил из Москвы, в основном — мне. Его очень беспокоил хаос, возникший в Варшаве. Я чувствовал, что он немного жалеет меня, понимая, что я не могу овладеть положением. Я пытался, по возможности, успокоить его. Говорил, что положение действительно нелегкое, но мы справимся, пусть не беспокоится. Вдруг звонит мне из Москвы Ванда Гурская. По ее словам, Берут заболел воспалением легких и был при смерти. Я сразу же вылетел в Москву. Прилетел я во втором часу дня и прямо с аэропорта поехал к Беруту. Ванда, которая сидела около него все время, вышла ко мне из его комнаты. Я обратился к профессору Маркову — врачу, назначенному для постоянного наблюдения за Берутом, — за разрешением увидеть Берута.

Марков ответил — нет, мы боимся, что разговор с вами слишком взволнует Берута, а это противопоказано ему. Отказ выглядел очень неубедительно. Видимо, он получил такие распоряжения. Мне очень было больно: я прилетел попрощаться, а меня не допускают. Меня охватило отчаяние.

После смерти Берута прилетели Завадский и Мазур. Завадский должен был произнести речь в Доме союзов, и я помогал ему готовить речь: я лучше знал русский. Гроб поставили в Доме союзов, а нас выстроили у гроба. Мне отвели место подальше, а место Мазура оказалось ближе. Я увидел в этом объяснение, почему меня не допустили к Беруту. Стало ясно, что это конец.

Через два месяца я ушел в отставку, чтобы облегчить положение нового руководства, а через четыре месяца пришел Октябрь. Значение его было двойным: им бурно закончился медленный процесс оттепели, начатый нами, и в то же время высвободились злые силы, таившиеся в мышлении поляков.

— *Чем все это было вызвано, по вашему мнению?*

— Теперь стало модным анализировать кризисные ситуации, и каждый болтает, что в голову взбредет. Я считаю эту дискуссию бесплодной. В ней был бы смысл, только если речь шла бы об ошибках в экономических вопросах.

— *Какие же ошибки были совершены вами?*

— Ответить на этот вопрос трудно: ведь каждую ситуацию следует рассматривать во всей ее сложности. Легко запланировать что-либо за столом, в кабинете, и считать, что найдено самое мудрое решение. Труднее осуществлять планы. Ведь на их осуществление влияет множество факторов, в том числе и международных. Наш шестилетний план, в начале очень умеренный, пришлось пересмотреть не потому, что нам так хотелось: холодная война принудила нас расширить программу вооружений и изменить соотношение между статьями расходов, что привело к снижению жизненного уровня, а вследствие этого — к недовольству. И Герек тоже мог бы справиться с экономическим кризисом, если бы не международная обстановка, конкретнее — общий кризис

мирового хозяйства. Польский кризис был следствием мирового. До 1975 г. все как-то шло, и шло бы дальше, если бы не произошла катастрофа на Западе. Но она произошла, и Герек не мог рассчитывать ни на помощь, ни на кредиты.

— *Но вы утверждали, что капиталистические кризисы не влияют на плановое социалистическое хозяйство.*

— Не могли не повлиять.

— *Но вы утверждали, что не влияют.*

— Они не влияли бы, если бы мы не были связаны с капиталистическим миром экономически. Но мы всегда были связаны, и нам было важно расширять это сотрудничество, а не свертывать его. Нашей целью было развитие торговых отношений со всеми странами — не только со странами социалистического блока, но и со странами Запада и „третьего мира“. Мы старались сохранять торговый оборот с Советским Союзом в пределах 30%, ибо при большей его доле, например, около 40%, это дало бы отрицательные последствия — привело бы к экономической зависимости, а затем и к политической. Ведь такие вещи определяют границы самостоятельности. Теперь же можно было рассчитывать на помощь только с советской стороны. Это усугубило опасность, которую пыталось предотвратить наше руководство.

Другой причиной польского кризиса является обострение не решенных ранее проблем, не проведенные вовремя реформы. Из-за этого было утрачено доверие к методам руководства. Несомненно, у нас были дефекты и даже деформация, особенно в период „холодной войны“, в 1949-1953 годах, более всего — в 1953 г. Следует понять, однако, что репрессии (я согласен, идиотские), которые начались после смерти Сталина, объяснялись сочетанием неблагоприятных обстоятельств. ГДР охватили волнения и забастовки, вспыхнуло Берлинское восстание. В Польше активизировались враждебные силы в надежде, что карта Европы может измениться. Эти настроения поддерживали западные радиостанции, в особенности „Свободная Европа“.

Мне пришло тогда в голову словечко „атрофия“. Я и не подозревал тогда, что оно так распространится. Я видел застывание, бюрократизацию, отчуждение не только в общественной, но и в политической жизни. Эти явления возникли в период „холодной войны“, из-за непонимания процессов, происходивших в мире. Как-то вечером в разговоре с женой я попытался найти подходящее определение для этих явлений. От гипертермии (перегрева) мы пришли к атрофии — потере чувствительности. Я прочел доклад на эту тему, надеясь, помочь делу. Ведь наступила пора перемен, встал вопрос о повышении жизненного уровня населения, что стало возможным в результате ослабления международной напряженности после окончания войны в Корее и заключения Венского договора. Эти проблемы могли быть решены, если бы наша группа в руководстве не распалась и если бы не произошли события в Познани, которые, несомненно, затормозили оттепель и помешали развитию по пути, намеченному нами.

— *Гомулка в 1970 г. тоже не преуспел.*

— Стрелять он приказал без всякой нужды, от страха. Он по-своему заботился о Польше. До самого падения он был убежден, что совершил великое дело. И он действительно совершил его, заключив соглашение с Брандтом. Получить для Польши гарантии на владение западными землями было его мечтой, он вложил в это всю жизнь. Несомненно, договор с ФРГ — его историческая заслуга. Но он ее переоценил. Она вскружила ему голову, и он решил, что ему все позволено. Но тут произошло выступление на Побережье. Оказалось, что люди совсем не в восхищении от него. Это сломило Гомулку. К тому же он ждал звонка „оттуда“. Он рассчитывал, что его поддержат. Но никто не позвонил. Гомулка был в отчаянии. А там попросту решили, что его карта бита, и ухватились за Гереку. Но и тот оказался не таким уж большим козырем. В этом сказалась политическая глупость организаторов гданьских и щецинских беспорядков, узость их взглядов и неумение оценить вред, который они нанесли Польше.

— *Неужели? А кто ошибался в Познани?*

— Какие там силы действовали, мне судить трудно. Там создалась напряженная обстановка. Отсюда можно сделать вывод, что, видимо, существовали силы, заинтересованные в нагнетании напряженности.

— *Вы имеете в виду органы безопасности?*

— Не думаю. Как раз они никак в этом не были заинтересованы. Так же, как и Советский Союз. Наоборот, познаньские события подрывали единство партии, которое было очень важно для советского руководства. Я тогда написал письмо Охабу, потому что встретиться с ним я уже не мог — я был отстранен от дел. Я не отрицал, что в Познани действовали силы контрреволюции, но в оценке событий я принимал во внимание масштабы наших ошибок и недовольства рабочего класса, ибо эти факторы были там решающими. Я призывал Охаба к установлению взаимопонимания с рабочим классом. Это позволило бы отыскать выход не только в Познани. Сейчас, конечно, можно раздумывать, достаточно ли быстро шли мы по пути обновления. Ибо мы начали обновление, пусть не в строгом смысле слова, но таким путем, на какой мы были способны. Можно спрашивать, верно ли мы делали, нажимая на тормоза, действуя медленно, постепенно, разделяя процесс либерализации на этапы. Почему мы так поступали? Потому что боялись — боялись того, что взрывалось в 1956 и 1980 годах, а могло бы взорваться еще в 1954 г. Польша — это ящик Пандоры. Здесь легко выпустить злых духов, но загнать их обратно трудно.

— *Каких злых духов?*

— Это целый комплекс: Польша великая, державная, светоч народов, поляки — избранный народ. Эти мифы по-прежнему живут в разных слоях общества, приобретая все новые формы, обличья, оттенки. Как вы думаете, почему Гомулка в 1956 г. приобрел такую популярность, какой никто в послевоенной Польше не имел, и пришел к власти? Эту популярность породило именно то, чего мы боялись и что нас сковывало. Он неожиданно для себя, сам того не желая, пробудил надежды на

возврат старой Польши, которая будет противостоять Советскому Союзу. Об этом не говорили открыто, но на половину или хотя бы на четверть это была надежда на какую-то конфронтацию Польши и Советского Союза.

— *Речь шла об освобождении.*

— Да? А вся история в Гданьске на съезде „Солидарности” с воззванием к народам советского блока, на что она была рассчитана? На что, если не на развал Советского Союза! Можно ли было надеяться, что это стерпят? Что это проглотят! А за каким чертом, кому это было нужно? А ведь пошли на это! А потом еще кричали: „Это будет последний и решительный...”, вспоминали „Интернационал”! (ударяет кулаком по столу).

— *Пожалуйста, не нервничайте, это был Кароль Модзелевский.*

— Ну и что с того, что это сын Зигмунта! Сын Зигмунта тоже может делать глупости. Парень он интеллигентный, но впал в раж и забыл обо всем.

А уничтожение советских кладбищ и памятников, о чем это говорит? А ведь никто этого не организовывал. Уничтожали их стихийно и в массовом масштабе.

— *Охоб утверждает, что это делал УБ.*

— Охоб считает так, а я иначе. Я утверждаю, что это был взрыв неслыханной ненависти.

Или вот Михник! Почему Михник выступает против Ялты? Что бы мы делали без Ялты! Чем бы мы были? Самое большое — княжеством Варшавским. Тут-то мы и видим нелогичность и катастрофический характер мышления крайних. Они не отдают себе отчета в том, что их действия угрожают целостности Польши, ведут к превращению ее в княжество Варшавское. Где же тут смысл? И это выдают за глубокое политическое мышление? Если это мышление, то вредное, никуда не ведущее, свидетельствующее об узости горизонта „Солидарности”. А началось все с

благородных порывов, идущих из здорового источника, от здоровых корней — с исправления ошибок, с утверждения новых принципов. А к чему привело? К раздуванию уже было притихших мечтаний о независимости французского толка, независимости, полунезависимости, четвертьнезависимости, и черт знает, чего еще! В различных кругах это выглядело по-разному, но все, не отдавая себе в том отчета, пошло, как стадо, вслед за интеллигенцией! Вот их позиция, позиция широких кругов польской интеллигенции. Вот это вызывает во мне боль. Ведь это люди разумные, рационально мыслящие. А куда они стремятся, к чему ведут!

— *К независимости.*

— Глупость, (кричит), идиотизм, чистейший идиотизм! Ведь мы живем в другую эпоху, в другом веке! После первой мировой войны можно было еще иметь иллюзии, строить планы, тоже не слишком удачные, как это делал Пилсудский. Но после второй мировой войны это уже стало абсурдом. Что-то в мире изменилось, неужели вы этого не видите? Нет уже суверенных государств, есть только полунезависимые. Степень зависимости может быть большей или меньшей, но она есть всегда. Посмотрите, что делает Франция, сильная Франция. Маневрирует. Еще де Голлю хватало силы воли и характера, чтобы вести самостоятельную политическую линию, но Миттеран уже плетется в хвосте, ибо таков мир, и это следует видеть. И уклониться от этого нельзя. Нечего на это рассчитывать. Мысль о том, что мы себе усядемся в уголке, одним улыбнемся, другим усмехнемся, — это глупость, которая свидетельствует о незнании географии и элементарных основ политики. Польша может быть либо просоветской, либо проамериканской, других возможностей нет. Нет! (кричит) Польшу нельзя вырвать из советского блока. Ведь если вырвать, то где ее поместить? На Луне? Польша лежит между Советским Союзом и Западной Европой, и положение ее ясно: или — или, нет промежуточных красок, в воздухе ее не повесишь. Объективная реальность такова, что если Америке удастся создать здесь такое брожение, что нас свергнут, то тогда, естественно, произойдет интервенция, ибо этого

потребуется высшие интересы Советского Союза. И польется кровь, народ изойдет кровью. Это ни для кого не может быть решением вопроса. Или же соцлагерь потерпит поражение, Польша станет княжеством Варшавским, вспыхнет третья мировая война, и будет уничтожена вся Европа или ее часть. Других перспектив я не вижу и не понимаю, почему не видит этого польское общество, польская интеллигенция. Я стараюсь проникнуть в их психологию и понять, чего они кипятятся, зачем они ворошат прошлое? И прихожу все время к одному выводу: разные неприятности, ограничения и болячки так заслоняют их поле зрения, что они не могут отделить основных проблем от второстепенных. Но они все увидят, должны будут увидеть, может быть, уже после моей смерти, что пока дела обстоят так, а не иначе, мы обречены существовать в этой системе. Ее можно улучшать, исправлять, смягчать, но она будет существовать. Вместо усилий свалить ее, надо увеличить усилия для спасения Польши такой, какой мы ее создали, со всеми нашими недостатками и ошибками — сильной Польши. Надо избавиться от абсурдных мифов и нереальных надежд, ибо они идут против законов природы.

— *Против законов природы нынешнее положение вещей.*

— Ну вот, опять! Гомулка тоже, в конце концов, понял, что только иллюзии сплотили поляков вокруг него. Может быть, он понял это не сразу, может быть, полностью это дошло до него лишь в 1957, а то и в 1958 г. Не знаю. Но мне кажется, что частичное понимание пришло к нему уже во время митинга на площади Парадов (всенародный митинг в поддержку нового курса, состоявшийся после VIII пленума ЦК ПОРП в октябре 1956 г. — Примечание переводчика). Вероятно, он был потрясен, ибо понял двойственность своего положения. С одной стороны, он отдавал себе отчет в том, что какие-то барьеры рухнули. Но он понимал также, что разрыв будет расширяться, и дойдет до того, что под угрозой будет поставлена вся система, сложившаяся после второй мировой войны, которая является основой нашего владения западными землями и всего нашего государственного бытия. Ведь что началось? Одни лишь рассуждали,

кто хороший поляк, а кто — нет, но другие стали действовать. Одни кричали, что они хотят воскресить Национальную демократию, другие хотели восстановить Партию труда, требовали таких реформ и этаких реформ. Гомулка растерялся. Он стал поправлять самого себя, иногда правильно, иногда нет, ибо у него не хватало чутья и понимания, как отделить одно от другого. А поскольку мыслит он узко, то беспрерывно совершал ошибки. К тому же он не обладал талантом организатора, имел множество недостатков, был слишком самоуверен и чрезмерно верил в арифметические расчеты. Он оттолкнул от себя нескольких умных, преданных партии людей, по-глупому боялся старой интеллигенции и шел на обострение курса за счет реформ. А почему? Из боязни, из-за опасений, из-за того, что потерял голову. В конце концов до него дошло окончательно: что поднялась волна стремления к независимости, которую нужно сдерживать, ибо, если не одолеть ее, она его захлестнет. Как океан.

— *И до каких пор вы намереваетесь с этим бороться?*

— И 60, и 100 лет, если понадобится, но это нужно одолеть! (бьет кулаком по столу).

— *Но ведь и за 150 не одолели.*

— Но одолеем! (кричит). Народ должен влиться в новые формы. Должен!

— *Нет!*

— Конечно, чтобы народ принял новые ценности, иные формы жизни, необходим перелом, какого еще не было в его тысячелетней истории. 150 лет российского угнетения и борьбы с Россией нелегко вычеркнуть из памяти, это оставило глубокие следы в народном сознании. Ни у одной страны нет такого исторического опыта, как у нас. В этом отношении ни чехи, ни венгры, ни румыны не могут сравниться с нами. Чехи пережили

какие-то перемены, но у них не было такого глубокого потрясения, как у нас. Венгры потеряли после войны Трансильванию. Эта заноза сидит в их душах, вероятно, до сих пор, но зато они много приобрели — некоторую зажиточность, устойчивость. История Румынии тоже не столь драматична как наша. Мы обречены владеть на плечах огромный груз своего тысячелетнего опыта. Процесс разрыва с традициями, усвоение новых форм не может быть легким, не может идти гладко и постепенно. Неизбежны потрясения, которые в той или иной форме будут время от времени выходить наружу, повторяться. Тем более, что до сих пор живы все эти ягеллонские мечтания о великой экспансии на Восток, которые известны нам из романов Сенкевича, они живут в сознании поляков, потому что их лелеяли в разных слоях общества. Все поколения воспитаны на этих идеях и продолжают воспитываться на них же. Несмотря на все усилия с нашей стороны. Перечеркнуть это одним махом невозможно. Этого нельзя исправить самими ловко написанными учебниками истории и статьями (правда, я и не утверждаю, что написанное было достаточно умно: наверняка, следовало бы меньше действительных фактов замалчивать). Но рассчитывать на то, что тот или иной разговор, фильм или книга за 30-40 лет могут изменить сознание, сложившееся веками, было бы иллюзией. Какой-нибудь учитель мог впасть в разочарование, если его усилия не дадут желанных результатов. Но ведь сразу такого не может случиться. Я не верю в магическое воздействие слов. И все же я убежден, что совокупность последовательно и умело проводимых нами действий в конечном счете принесет результат и создаст новое сознание у поляков. Ибо проявятся, — должны проявиться, — выгоды новой системы. Если не уничтожит нас атомная война, и мы все не канем в Лету, то наступит, наконец, перелом в их мышлении, что придаст ему новое содержание и качество. И тогда мы, коммунисты, сможем привести в действие все принципы демократии, чего теперь мы сделать не можем, ибо это закончится нашим поражением и устранением. Может быть, это произойдет через 50 лет, может быть, через 100. Я не хотел бы пророчествовать, но я уверен, что когда-нибудь это произойдет.

Перевод: Вадима Меникера